

**АНДРЕЙ УБОГИЙ**

## ГОРЫ И ГОРЕ

*ЗАМЕТКИ О ЧЕРНОГОРИИ*

I

Сначала в названии этой страны мы слышим “горы”; потом, стоит больше узнать об истории южных славян, все отчетливей слышится — “горе”. И в итоге в душе остается сложно-двойное мерцание смыслов: сквозь признак внешний, отчетливый и характерный — действительно, Черногория, прежде всего, страна гор, — проступает еще и трагическое содержание.

Просматривая в Сети отзывы о посещении Черногории, можно заметить интересную закономерность: эту страну либо восторженно хвалят, либо ругают. То есть относятся к ней примерно так же, как и к России, великой восточной сестре Черногории: ее или любят, или ненавидят. Думаю, это же самое наблюдение касается всех славян вообще: в мире к нам почти нет нейтрального, тепло-хладного отношения.

Но не значит ли это, что мы — и Россия, и Черногория, и вообще все славяне — несем в своих судьбах, в своем бытии нечто глубинное, важное, то, к чему нельзя относиться спокойно? Не значит ли это, что мы несем некий трагический опыт, обозначаем особенный путь, который можно признавать или не признавать, хвалить либо хулить — но нельзя делать вид, что этого мирового пути, этой славянской трагической формулы просто-напросто не существует. Разумеется, формула эта — раз уж мы воспользовались выражением Пушкина\* — мало похожа на математическую: неизвестных величин в ней куда больше, чем твердо известных, неопределенного больше, чем определенного, и решить ее, в том прямом смысле, в каком решают алгебраические уравнения, никому не под силу. Но несомненно, что ключевым словом в ней является слово “трагедия”.

Мало есть в целом свете народов, кому так знаком горький опыт трагедии, как он знаком славянам. А уж на Балканах череда непрерывных трагедий и бед, от войн до землетрясений, так часто вторгается в жизнь, что трагическое начинает казаться здесь чем-то почти обыденным. Не потому ли славян так порою чураются, так сторонятся — как будто боятся от них заразиться тем духом

---

\* “. . . Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; . . . история ее требует другой мысли, другой формулы. . .” (Пушкин, “Второй том “Истории русского народа” Полевого”).

трагедии, что наполняет славянскую жизнь? Согласитесь, что люди не очень-то рвутся общаться с тем, с кем случилась беда: скорее, они избегают несчастного, как прокаженного.

Но ведь трагическое не просто вторгается время от времени в жизнь, как нечто чуждое и инородное; нет, трагедия и трагическое составляют само существо, саму суть человеческой жизни, выражают ее непреложную и беспощадную правду. Жизнь – это трагедия, то есть непримиримый конфликт, в котором, во-первых, каждый по-своему прав, и, во-вторых, все, в конце концов, погибают. Так что вопрос о смысле трагедии равен, по сути, вопросу о смысле жизни.

Вот мы и попробуем здесь, на Балканах – нет, разумеется, не разрешить этот неразрешимый вопрос – но хотя бы порассуждать о трагическом: понимая, конечно, что рассуждения в данном случае будут всегда неадекватны предмету, что трагический опыт надо переживать и преодолевать, а не только лишь рассуждать о трагедии, как о некоем нейтральном событии. Но, с другой стороны, и рассуждения могут дать многое. Они могут помочь осознать, как надо, в принципе, относиться к трагедии: избегать ли ее, или жить ей “навстречу”, осудить и отвергнуть весь этот трагический мир – или все же принять его, принять вместе с болью, и горем, и смертью?

## II

В разговоре серьезном не обойтись без личного интереса и личного опыта – нельзя же лишь пересказывать то, что написано в книгах, – поэтому, думаю, будет уместно то, о чем я собираюсь сейчас рассказать.

Тема балканских славян вошла в мою жизнь еще в раннем детстве, и вошла вместе с Пушкиным. В жаркое лето 1972 года – люди постарше, наверное, помнят, как тем летом горели торфяники по всему Подмоскovie – наша семья обитала в палатке на берегу Угры. Место было очень красивым – река, песок, сосны – и те две недели, которые я, восьмилетний, провел вместе с матерью и отцом, запомнились, как совершенно блаженное, райское время. Можно сказать, что все светлое в детстве, все безмятежное, лучшее в нем – было, как в фокусе, собрано и сгущено в этих двух незабвенных неделях полнейшего детского счастья.

Но это же самое время до сих пор вспоминается, как самая первая встреча с трагическим. Дело в том, что единственной книгой, которую отец захватил на стоянку, был том Пушкина; и я, восьмилетний, в ту пору много и жадно читавший, раскрыл эту книгу как раз на “Песнях западных славян”. Я был тогда потрясен и испуган, растерян, смущен – и сейчас, спустя почти сорок лет с той поры, я вполне сознаю: именно там и тогда, в то жаркое лето, незримая, но какая-то очень глубокая трещина надорвала мне сердце.

Представьте: вот я живу в совершенном раю. Мир прекрасен; мои мать и отец – разумеется, лучшие люди на свете; жизнь в палатке похожа на сказку – чего стоит один только запах брезента, нагретого солнцем! – и все впечатления мира так свежи и новы, что вызывают в душе непрерывный восторг. Вот, скажем, костер и сосновые шишки – которые, если их бросить на угли, становятся нежно-малиновые, полупрозрачны... Вот песчаные осы: словно танцующая, они роют норки в сыпучем обрыве, и я часами могу наблюдать этот их грациозно-причудливый танец... А короткие грозы и стрекот дождя по натянутым скатам палатки? А купанья в Угре, чьи чистейшие, теплые воды проносили тебя над песчаной отмелью – прямо в руки отца, который, смеясь, учил тебя плавать? Словом, жизнь была так хороша, как она может быть хороша только в детстве.

И вот я открываю том Пушкина – о котором я уже твердо знаю, что это прекраснейший, светлый поэт, самый лучший из всех, кто когда-либо жил на земле – и читаю, к примеру, историю Феодора и Елены. Вкратце напомним сюжет. Старый Стамати, отвергнутый молодою Еленой, решает ей отомстить. Некий жид его учит: надо поймать на кладбище черную жабу, исколоть ее иглами, напоить эту тварь ее собственной кровью – а потом дать ей облизать спелую сливу. Так злодеи и делают – и сливу, под видом подарка, передают Елене. Красавица, ни о чем дурном не подозревая, съедает ее – и чувствует, как в животе у нее кто-то шевелится...

*Стала пухнуть прекрасная Елена,  
Стали баить: Елена брюхата.  
Каково-то ей будет от мужа,  
Как воротится он из-за моря!*

Действительно, возвращается Феодор, в пылу гнева отсекает голову загулявшей, как он уверен, жене – а потом решает достать из ее чрева живого младенца, чтобы, когда тот подрастет, увидеть, на кого ребенок похож, и уж тогда сполна отомстить совратителю. Но в утробе жены вместо ребенка – шевелится черная жаба... А мертвая голова Елены, размыкая уста, произносит:

*“Я невинна. Жид и старый Стамати  
Черной жабой меня окормили”.  
Тут опять уста ее сомкнулись,  
И язык перестал шевелиться...*

Что же это? Зачем Пушкин передает нам все то ужасное, темное, страшное – что, казалось бы, надо навеки упрятать от глаз, постараться об этом забыть, как мы забываем ночные кошмары? И каково же все это было читать восьмилетнему мальчику? Зачем, только-только его восхищенному взору открылся земной, полный радостей, рай – была тут же показана черная трещина ада?

И предо мною впервые, во весь свой чудовищный рост, встал этот страшный вопрос: в чем же истина жизни? И вообще, что есть жизнь – в ее сути, в ее наготе? Неужели все то, что я вижу вокруг – река, солнце, сосны, веселые лица родителей – есть всего лишь мираж, оболочка, есть некий обман, который до времени лишь прикрывает жестокую, черную суть бытия?

### III

Спустя сорок лет я оказался в тех самых местах, где зародились сюжеты “Песен западных славян”\* – и тема славянской судьбы и славянской трагедии вновь вошла в мою жизнь.

С одной стороны, Черногория – это, конечно же, рай. Особенно Адриатическое побережье: неостанет ни красок, ни слов, чтоб вполне передать красоту здешних мест. Если представить себе всю театральную пышность субтропиков – скажем, нашего черноморского побережья Кавказа – все эти пальмы, магнолии и олеандры, все величие гор, подпирающих небо, почувствовать животворящую влажность тепличного здешнего климата – а потом взять да вспомнить любимый наш Крым – “Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева, и парус медленный, что облаком продолжен...” – то вот как раз побережье Черногории объединяет в себе самое лучшее и характерное от Кавказа и Крыма, от картинности первого и благородства второго.

Море? Оно здесь прекрасно – и для пловца, и для рыбака, и для созерцателя: например, если ты созерцаешь его, сидя за столиком какого-нибудь ресторанчика в старом будванском порту. Перед тобою тарелка тушеных кальмаров, графин “Грошевины” (отличное местное белое); чуть дальше, по набережной, вышагивают красотки, одна соблазнительнее другой; еще дальше, в бухте, сонно качается лес яхтенных мачт, словно связанных между собой сложным кружевом вант, и слепящие блики играют на белых бортах катеров – а совсем уж вдаль, за всем этим пестрым столпотворением порта, до самого горизонта разлито горячее масло морской, отражающей солнце, лазури. Кажется, целую вечность можно сидеть в этом знойном блаженстве, в полуденной неге и слушать говор разноязыкой толпы, сложно смешанный с плеском, с дыханием адриатических волн...

А старые города побережья – Котор и Будва, Герцег-Нови, Пераст? Их облик сложился в пору венецианского ренессанса, в эпоху расцвета ремесел, торговли, искусств, и, на теперешний взгляд, каждый адриатический город – своего рода брешь, пробитая в густо слежавшемся времени, прямым из сегодняшних дней в европейское средневековье. По узким ветвящимся улочкам

\* То есть, говоря строго, южных: западными принято называть поляков, словаков и чехов.

бродишь, как в воплощенном, сложно запутанном сне, где соблазны и страхи поджидают за каждым углом и где сердце поэтому бьется все чаще, взволнованней — в такт растерянным и торопливо стучащим шагам. Возможно, что толкователь снов Зигмунд Фрейд и сказал бы что-нибудь по этому поводу: во всяком случае, желание снова и снова сворачивать во все более сумрачно-узкие щели меж старых домов становится здесь, в самом деле, маниакально-болезненным и почти что неодолимым.

Вообще, побережье — ривьера, как принято здесь говорить — так дышит соблазнами, так наполнена ленью и негой, что вся черногорско-приморская жизнь представляется неким дрящимся праздником, непрерывной усладой для тела и взгляда.

Правда, есть Черногория и совершенно другая: суровая, горная, труднодоступная. Там, в горах, аскетом быть столь же естественно, как естественно быть сладострастником на побережье. Трудно даже поверить, что в обжитой современной Европе еще сохранились места, которые в долгие зимние месяцы вовсе теряют связь с “большим” миром — лавины перекрывают дороги — поэтому и продукты, и топливо, и медикаменты запасают там с осени, а уж если кто-то зимою всерьез заболел, то уповать остается лишь только на милость Господню. Там, в горах, и хоронят-то, кстати, покойников рядом с домами, в “породичных” склепах-гробницах: так что мертвые в черногорских деревнях, можно сказать, охраняют живых — а живые не забывают о мертвых.

Если горную Черногорию и можно назвать словом “рай”, то это рай аскетический, строгий, суровый. Здесь почти нет плодородной земли, очень мало воды — приходится собирать и хранить дождевую — и райские здесь только виды: они, в самом деле, ошеломляют. Горы, покрытые лесом, орлы, что кружат над ущельями, ключья тумана, ползущие над каменистою осыпью склонов, а внизу, под извилистым серпантинном дороги — будто светится бирюзовая лента реки... Здесь действительно очень красиво, и здесь чувствуешь, как душа наполняется гордостью за человека. Оттого ли, что люди обжили-таки эту всю неприступную горную красоту, оттого ли, что черногорцы никогда и никем не бывали полностью покорены — с ними так и не совладали ни турки-османы, ни Гитлер, ни Наполеон\* — или, может быть, оттого, что облик людей соответствует здешней природе? Коренные, настоящие черногорцы худы, изможденно-суровы — это народ воинов и пастухов, — и недаром же Черногорию издавна называют славянской Спартой. Меж обвислых усов черногорца непременно дымит сигарета — кажется, он с ней родился — взгляд обычно сощурен, а кожа смугла и обветрена. Но удивительно, как, несмотря на суровую внешность, добродушны, радушны и веселы эти люди.

А уж какие здесь девушки — это надо увидеть своими глазами! Они все высокие, стройные, темноволосые, со смугловато-оливковой кожей и с поразительно чистыми, радостно-ясными лицами. Недаром сказал один мой товарищ своему повзрослевшему сыну: “Паша, невесту привозишь — только из Черногории!”

Но, говоря о характере черногорцев, мы сразу же видим противоречие. При всей суровости здешнего быта — а значит, при необходимости много, усердно работать, чтобы как-то себя прокормить в этих горных краях — черногорцы, похоже, на редкость ленивы. Я поначалу не очень-то верил себе, наблюдая, как множество местных мужчин день-деньской просиживают за столиками кафе. Ну, мало ли, думал я: всё же это туристские трассы, и индустрия сезонных, сравнительно легких доходов не могла не сказаться на здешних нравах. Но, похоже, и в остальные сезоны, и даже вдали от туристов, черногорцы не очень-то рвутся работать.

Скорей, местный житель задумчиво подымит сигаретой, выпьет стопочку ракии да будет смотреть-созерцать, как кружатся орлы и как ключья тумана ползут по лесным склонам гор... И вот подтверждение этим моим — неизбежно поверхностным — наблюдениям путешественника. По всему побережью, в бесчисленных сувенирных киосках продается любопытнейшая открытка: “Черногорские заповеди”. Эти заповеди настолько забавны и вместе с тем характерны, что я приведу их полностью.

---

\*Отсылаю читателя к стихотворению “Бонапарт и черногорцы”: мало о ком Пушкин писал с таким восхищением, как о воинах-черногорцах.

“Человек рождается утомленным, чтобы потом всю жизнь отдыхал.

Люби кровать свою, как самого себя.

Днем отдыхай, чтобы ночью мог спать.

Не работай – работа опасна для жизни.

Если увидишь отдыхающего – помоги ему.

Работай меньше, чем можешь, а если вообще что-то и можешь – так пусть другой этим займется.

В тени спасение: отдыхая в ее объятиях, пока никто не умер.

Работа болезнетворна: чтобы не умер молодым, сторонись ее с раннего детства.

Если у тебя внезапно появится желание работать, тогда немедленно садись, успокойся – и это глупое желание улетучится.

Если увидишь скучающих и пьющих – присоединяйся, а если увидишь работающих, немедленно уходи: их нельзя беспокоить”.

Согласитесь: как ни шутейны эти все афоризмы, но ничего подобного, даже в шутку, не могло быть сказано ни о немцах, ни о китайцах – вообще ни о ком из по-настоящему трудолюбивых народов.

Пытаясь связать склонность к лени и созерцанию со спартанской суровостью здешнего быта, я даже придумал особенный термин: “аскетическое эпикурейство”. К слову заметим, что сам Эпикур был как раз не развратником и сластолюбцем, как его иногда представляют, а настоящим аскетом: он не пил вина, не ел мяса, сыр позволял себе только по праздникам, и вообще жил как можно более просто и скромно. Так что, в определенном смысле, можно считать черногорцев истинными учениками и последователями великого грека.

#### IV

То, что Черногория – рай, очевидно для всех приезжающих в эту страну. Но за очевидностью и за фасадом скрывается много тяжелого и даже страшного. Судьба Черногории, как и вообще Балкан, горька и трагична. Здесь – место великого стыка религий, культур, языков; и это место напоминает кровоточащую рану, которая только-только подсохнет, затянется тонкою коркой, начнет вроде бы заживать – как вдруг, при чьем-либо неловком движении, этот струп снова сорван, края раны расходятся, и из нее вновь течет кровь.

Не буду перечислять все те трагедии, которыми полна история балканских славян, начиная с их поражения на Косовом поле; напомним лишь то, что во время последней великой войны, с 1941 по 1945 год, героически воевавшая Югославия по людским жертвам заняла третье место после Советского Союза и Польши. И до сих пор Балканы – самое кровоточивое место Европы: вспомним хотя бы бомбардировки Сербии и Черногории натовскими войсками в 1999 году.

Несомненно и то, что все периоды относительного благополучия и покоя, которые выпадали балканским славянам, были имперскими. Начиная с империи Александра Македонского, здешние земли входили во множество разных империй: и римской, и византийской, и империи турок-османов, и Австро-Венгерской империи Габсбургов. Но только в 1918 году славяне Балкан оказываются не под чужеродной, извне привнесенной, властью – но создают свою собственную, пусть и небольшую, империю: Королевство сербов, хорватов и словенцев. В 1929 году оно было переименовано в Королевство Югославия. Благозвучное это название – Югославия – столь милое нашему слуху и, видимо, столь ненавистное Западу, не выносящему даже намека на славянское объединение, просуществовало до 2003 года, но затем, увы, было стерто с карты Европы. Но оно не стерлось из людских душ. Достаточно сказать, что культовый современный кинорежиссер, мусульманин-босниец по крови и православный по вероисповеданию, Эмир Кустурица на вопрос о собственной национальности отвечает: “Я – югослав”. И достаточно посмотреть, как на черногорских заборах написано “Тито” – что, конечно же, выражает и ностальгию по временам Югославской империи, и одновременно надежду людей на сплочение южных славян. Многим все чаще является мысль, что без имперской “повязки”, которая как бы прикроет и стянет балканскую рану – этой многострадальной земле нельзя ждать исцеления.

Нам с вами даже трудно представить, насколько глубокие противоречия разрывают балканскую жизнь. Ведь мы в России, при всей трагедийности нашей истории, не знали, в сущности, ни настоящей религиозной розни между католиками и православными — а ныне проблема католиков-униатов как бы “вынесена” в сопредельную Украину — ни, тем более, мы не знали тех “алфавитных войн”, которые целые десятилетия не давали покоя Балканам. Поясню для тех, кто, быть может, не знает. Сербохорватский язык (основной на Балканах) с XIX века использует два алфавита: латиницу и кириллицу, или гяевицу и вуковицу, по именам их создателей, Людовита Гая и Вука Караджича. Естественно, что латиница ближе католикам, и именно этот алфавит принят в католических Хорватии и Словении; православным же сербам и черногорцам, понятное дело, ближе кириллица. Но сама ситуация, когда одна и та же народная разговорная речь может быть записана на бумаге двумя разными способами, посредством двух алфавитов — ситуация эта достаточно редкая, если не уникальная. И такая вот “трещина”, разорвавшая изначально единую сербохорватскую речь — не могла не сказаться на душах людей, на их отношении к миру, к соседям и даже к братьям по крови. Напряженность и сложность “внутрисемейственных” отношений балканских народов хорошо передает сербская поговорка: “Как войдет в избу католик проклятый — в морду ему дай, но квасом напои: все ж он не турок, а душа крещеная”.

## V

Непросто что-либо понять, разобраться в конфликтах, противоречиях, спорах, какими доселе кипит вся балканская жизнь. Тут приходится или принять чью-либо узко-национальную точку зрения — но узкий, зашоренный взгляд как раз и приводит к кровавым конфликтам — или пытаться взглянуть на все “взглядом Шекспира”\*.

В XX веке таким вот “балканским Шекспиром” стал прозаик из Боснии Иво Андрич. Это писатель огромного, мирового значения: Нобелевская премия, которую он получил в 1961 году за роман “Мост на Дрине” — лишь одно из формальных тому подтверждений. Андрич писал этот роман в годы войны, в самое тяжелое для Югославии время, когда Белград был оккупирован немцами; и во всей мировой литературе XX века немного найдется романов, полных такой горькой правды и силы, такой мудрости и благородства — каков “Мост на Дрине”. Это могучий, торжественный эпос — и одновременно свидетельство о балканской трагедии, имеющее высшую — то есть художественную — достоверность.

Поразительно, скажем, как сцена казни крестьянина Радисава, борца против турок, — символический центр, туго стянутый узел романа — при всем ужасе беспощадно показанных автором достоверных подробностей казни превращается в гимн человеку. Там есть одно место, которое, может, важнее всего для того, чтоб понять смысл трагедии. Радисав, посаженный турками на кол, мучается почти сутки; продлить его муки, не дать умереть быстрой смертью, и тем запугать сербов — очень важно для турок. И весь тот чудовищный день, пока Радисав умирал, люди не могли ни смотреть на казненного, но не могли и отвести глаз от страдальца, вознесенного высоко над шумящею Дриной. Когда же Радисав, наконец, испустил дух — “сербы облегченно вздохнули, словно одержали незримую победу...”

Вот это и есть настоящий катарсис, “очищение души через ужас и сострадание”, как объяснял Аристотель — это и есть тот высокий урок, который мы можем усвоить, соприкасаясь с трагическим. Смерть может быть и победой, преодолением трагического тупика жизни — именно такому отношению к смерти учит нас христианская вера.

Все творчество Андрича — это трагический эпос Балкан. Мало кто с такой трезвостью видел людей, понимал всю безмерную силу страстей, разрывающих нашу непрочную жизнь, знал ее, жизни, ужасы — но мало кто так же, как Андрич, сохранил и доверие, и живой интерес к человеку, мало кто с такой силой и твердостью принимал эту жизнь, как бесценный, хотя и трагический, дар.

---

\* “Взглянем на трагедию взглядом Шекспира...”, — утешал Пушкин Дельвига после разгрома восстания декабристов.

И вот, продолжая имперскую тему, нельзя не сказать, что Иво Андрич, историк по образованию, дипломат по профессии — он был послом Югославии в Риме, Мадриде, Берлине — и великий писатель по дару, то есть человек, который, конечно же, больше всех знал и глубже всех понимал то, что мы называем “балканским вопросом”, — Андрич был убежденным империалистом, сторонником объединения южных славян в единое, умиротворяющее национальные противоречия, государство.

Конечно, империя не снимет и не разрешит всех трагических противоречий человеческой жизни — однажды родившись, человек обречен пронести свой, большой или малый, трагический крест — но империя может, по крайней-то мере, помочь нам сполна прожить наши жизни, осуществить и сыграть наши с вами трагедии в полную силу. Иначе мы можем напрасно, бездарно погибнуть еще в первом акте — так и не осознав ни своих ролей, ни общего замысла всей постановки.

## VI

А теперь пора обратиться к пушкинским “Песням западных славян”, для большинства из нас, читающих русских — основному источнику знаний о балканских славянах.

Интересна история написания — и источники “Песен”. В примечаниях к этому циклу из 16 стихотворений Пушкин пишет, что он в 1829 году познакомился с книгой “Гузла, или иллирийские песни”. Судя по предисловию, это был перевод сербских песен, выполненный французом Проспером Мериме. Друг Пушкина Соболевский, лично знакомый с Мериме, по просьбе Пушкина отправляет тому письмо — и получает ответ, в котором французский писатель очень живо рассказывает о том, как он сочинил сборник “Гузла”. Оказывается, никакой это не перевод действительно существующих сербских песен, а исключительно плод поэтического воображения самого Мериме. Да и сочинены эти песни якобы наскоро, по одной-две в день, скучающим в ожиданье обеда писателем.

Конечно, Мериме здесь лукавит. Известно, что над сборником “Гузла” он работал очень серьезно, не менее семи лет — потому и сумел выразить душу другого народа, почти неизвестного тогдашней Европе, с такой достоверностью, что даже Пушкин был, по его собственному признанию, мистифицирован, но в “хорошей компании”. “Хорошая компания” — это Адам Мицкевич, который, также сочтя сборник подлинным, перевел одну песню “Гузлы” на польский.

Из 16 стихотворений, входящих в “Песни западных славян”, 11 действительно переведены Пушкиным из сборника Мериме, две взяты из собрания Вука Караджича “Сербские песни” — это “Соловей” и “Сестра и братья” — а три сочинены самим Пушкиным: “Песнь о Георгии Черном”, “Януш Королевич” и “Воевода Милуш”.

Выходит, что “Песни западных славян”, будучи, с одной стороны, несомненно произведением Пушкина — чего б не коснулись его взгляд и перо, все мгновенно преображается, дышит новою жизнью! — в то же самое время “Песни” являются совокупным продуктом творчества крупнейших писателей разных народов: француза Мериме, серба Караджича и даже, отчасти, поляка Мицкевича. Это придает “Песням” особую универсальность и полноту, особую “всечеловечность”. Тем более что и главная тема, ведущий мотив всего сборника — неизбежность трагедии — есть важнейшая тема, встающая перед любым человеком. Просто славяне так много всего пережили, так много узнали о горе и смерти, что славянский трагический опыт является глубочайшим, бесценным — буквально, оплаченным кровью — достоянием человечества.

Видимо, чувствуя и сознавая эту славянскую “всечеловечность”, чувствуя необходимость выразить некую общеславянскую формулу, Пушкин и посвящает свою “вторую” Болдинскую осень, осень 1833 года, размышленьям о судьбах славян. Не забудем, что другой шедевр этой же осени — “Медный всадник”. Эта поэма, вкупе с “Песнями западных славян”, выражает взгляд Пушкина и на Россию, и на славян вообще, на их нелегкие судьбы в Европе и мире.

Как устоять перед страшным напором стихий, непрерывно грозящих славянам? То враждебное, чуждое, злое, что угрожает славянскому миру, оно воплощается то в обезумевших водах Невы —

*Нева вздувалась и ревела,  
Котлом клокоча и клубясь,  
И вдруг, как зверь остервенясь,  
На город кинулась... —*

то в турецком нашествии:

*Вот взвилась из-за города бомба,  
И пошли бусурмане на приступ...*

Как жить — в непрерывной осаде, в окружении наступающей смерти и тьмы? Ведь враждебные силы, грозящие нам, совершенно чудовищны, недолимы; недаром и в сборнике “Песен”, главным образом, мы читаем о смерти — но смерти особого рода: одолевающей, можно сказать, саму смерть.

В “Видении короля”, открывающем весь этот цикл, повествуется, как сербский король, обороняющий осажденный город от турок, ночью заходит в храм, и ему видится нечто ужасное: то, что с ним, королем, будет завтра. Храм завален трупами и залит кровью; рядом с султаном, усмевающимся на амвоне — изменник, брат короля Радивой. И султан, в честь победы, жалует Радивую кафтан (обыкновенный подарок султанов, поясняет нам Пушкин):

*Дать кафтан Радивую!  
Не бархатный кафтан, не парчовый,  
А содрать на кафтан Радивоя  
Кожу с брата его родного...*

Потрясенный всем тем, что он видит, король молится — видение исчезает — но главный-то ужас в том, что в реальности начинается то, продолженье чего король уже знает:

*Было тихо. С высокого неба  
Город белый луна озаряла.  
Вот взвилась из-за города бомба,  
И пошли бусурмане на приступ.*

А последняя песня сборника, “Конь” (“Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил...”) — очень похожа на первую: в ней вещий конь открывает хозяину его, леденящее душу, будущее.

*Отвечает конь печальный:  
“Оттого я присмирел,  
Что я слышу топот дальный,  
Трубный звук и пенье стрел;  
Оттого я ржу, что в поле  
Уж недолго мне гулять,  
Проживать в красе и в холе,  
Светлой сбруей щеголять;  
Что уж скоро враг суровый  
Сбрую всю мою возьмет  
И серебряны подковы  
С легких ног моих сдерет;  
Оттого мой дух и ноет,  
Что наместо чепрака  
Кожей он твоей покроет  
Мне вспотевшие бока”.*

Мотив предчувствия, предошущенья беды, несомненно, важен для Пушкина. Видимо, он не только для своих персонажей, но и для себя лично ждал мало хорошего в том, что ему несет будущее. И беды, и горести, и недалекая смерть — это все представлялось ему даже в самом счастливом, 1831 году,



когда он писал Н. И. Кривцову: “Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию...”

Предошущенье беды, убежденность в ее неизбежности есть важнейшая часть духовного опыта человека — и Пушкин настойчиво нам предлагает не прятать испуганных взглядов, не закрывать глаз руками, но твердо, смиренно и просто посмотреть на грядущее. В конце концов, сама удивительная способность предчувствия, возможность увидеть будущее с некой возвышенной точки, приподнятой над самодовлеющей злободневностью настоящего — говорит нам о том, что трагическая реальность преодолима. “Взгляд Шекспира”, та точка зрения, с которой творец озирает творение, открывает большой, исторический, над-человеческий смысл трагедии. Можно сказать даже так: способность предчувствия есть способность божественная. Ведь это для Бога не существует грядущего или прошедшего — но все совершается вечно длящегося настоящим. И художник, предвидящий то, что еще не свершилось — он убеждает нас в том, что иллюзия времени преодолима, а значит и смерть, с точки зрения Бога, не так и страшна, как она представляется нам.

Предвидеть трагедию, знать о ее приближении и, тем не менее, жить ей “навстречу” — уже означает подняться над неизбежностью и победить. (Ср. у Паскаля: “Человек всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, — человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстанется с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает...”)

## VII

Тема балканских славян зазвучала у Пушкина много раньше его второй Болдинской осени. Еще в 1820 году, в Кишиневе, Пушкин пишет стихотворение “Дочери Карагеоргия”. В нем он вспоминает легендарного вождя сербов Георгия Черного, получившего свое мрачное прозвище после того, как он убил собственного отца. Соединение в одном человеке качеств героя и одновременно злодея, нежного отца и беспощадного сына, который ласкает любимую дочь тою же самою рукой, какой он убил и отца, и родного брата — Пушкин, конечно, не мог не заметить такую редчайшую, крупную, противоречивую личность.

*Гроза луны, свободы воин,  
Покрытый кровию святой,  
Чудесный твой отец, преступник и герой,  
И ужаса людей, и славы был достоин...*

Так и видишь: из строк, посвященных Карагеоргию, словно рождается еще один человек-легенда, еще один “преступник и герой” — Емельян Пугачев. Вполне вероятно, что образ великого русского бунтовщика, к которому Пушкин обратится спустя много лет — был “зачат” именно в 1820 году. В пушкинском Пугачеве, как и в Карагеоргии, мы видим соединение несовместимого: когда один и тот же человек может быть злобен и великодушен, весел и яростен, светел и темен, чудовищен и прекрасен — он может быть так же широк, необъятен, необъясним, как широка и парадоксальна сама наша жизнь. И поразительно, как, при всей непримиримой полярности противоречий, из которых слагаются личности и Карагеоргия, и Пугачева, они видятся нам удивительно цельными, подчиненными некой внутренней логике слова и жеста — логике противоречия, если можно так выразиться.

Несомненно, что Карагеоргий и Пугачев — точнее, их образы, нарисованные пером Пушкина — так близки, так похожи один на другого, что можно считать их братьями. И несомненно, что личности вот такого крупномасштабного, противоречивого типа были Пушкину очень важны — ибо в них, этих личностях, не подходящих ни под какие обычные мерки, таится загадка необъяснимой, широкой, трагической, всегда сотканной из противоречий славянской души.

То, насколько личность Карагеоргия была Пушкину интересна, насколько загадку, сокрытую в ней, он считал важной для понимания сути славян вооб-

ще, подтверждает и то, что Пушкин посвящает Карагеоргию еще целых два (!) стихотворения. Одно так и называется “Песнь о Георгии Черном” (снова отсылаю читателя к “Песням западных славян”), а второе – это незавершенный отрывок “Менко Вуич грамоту пишет...” В нем речь идет о вражде двух предводителей сербов, Георгия Черного и Милоша Обреновича – вражде, в результате которой первого убивают по приказу второго.

Не будет большою натяжкой сказать, что образ пушкинского Пугачева – в идее, в замысле, в самом первом к нему приближении – был рожден на земле Черногории и принял сначала облик легендарного бунтовщика по имени Карагеоргий (подтверждением этого служит кишиневское стихотворение 1820 года) – а уж потом, спустя годы, Пушкин воплотил всю безмерную сложность бунтарской славянской души в ином образе, в самозваном государе-императоре Петре III.

Но вот что совершенно невероятно и что не могло быть придумано никем, самым смелым, затейливым, хитрым умом – это то, что реальная жизнь, прежде чем разыграть трагедию под названием “бунт Пугачева”, провела “петицию” этой трагедии – и как раз на земле Черногории!

Дело в том, что в 1766 году, за шесть лет до появления самозванца в оренбургских степях, некий авантюрист по имени Степан Малый начал борьбу за черногорский королевский престол, объявив себя, ни много ни мало – русским императором Петром III. Екатерина Великая, возмущенная появлением лже-Петра на Балканах, посылает в Черногорию своего эмиссара, князя Долгорукова – с тем, чтобы тот разоблачил самозванца. Но Долгорукий, вместо разоблачения – и неизвестно, по каким мотивам – неожиданно признает в самозванце наследного русского императора. Народ Черногории горячо поддерживает авантюриста, Степан Малый становится королем и правит страной целых семь лет, пока его не убивает слуга, подкупленный непримиримым и вечным врагом черногорцев, турецким султаном.

Вряд ли, конечно, Емельян Пугачев, поднимая свой бунт и объявляя себя государем Петром III, знал об этих событиях в Черногории. Но несомненно, что нас с черногорцами, помимо родства по славянской крови и православной вере, связывают еще и истории бунтарей-самозванцев.

## VIII

Вообще, трудно найти в целом мире страну, столь же близкую нам, как близка Черногория. Причем она нам близка не только по крови и вере, по сходству родственных языков – произносить фразы на сербском доставляет особое, прямо-таки физическое, удовольствие – но близка и по восприятию жизни как испытания, как неизбежной трагедии.

Но здесь нужна существенная оговорка. Вернувшись из Черногории и посмотрев свежим взглядом на своих соотечественников, поражаешься: до чего же у большинства из нас, русских, убитые лица и тусклые взгляды! В иные глаза и смотреть невозможно из-за гнетущей и мутной тоски, наполняющей их. Кажется, люди с тяжелою злобой, с тупым недоверием относятся сами к себе – а значит, с такою же недоверчивой злобой они относятся и ко всем окружающим. Радости – легкой, живой, непосредственной радости жизни – нет и в помине...

Совсем не то в Черногории: там лица именно светятся радостью. Несмотря на все трудности жизни, на все испытания, что выпали южным славянам на долю (а испытания эти, конечно, не кончились), несмотря на трагический фон и истории, и современности, черногорцы живут с добродушным и мудрым доверием к миру, с благоволением к людям, с тем твердым, спокойным достоинством слова и жеста – которого нам так, увы, не хватает.

Как же так вышло? Почему мы, русские, изо всех наших великих трагедий вышли опустошенными и полумертвыми – а наши братья-славяне остались живыми? Может, все дело в том, что сербы и черногорцы во всех многочисленных битвах, восстаниях, войнах, что выпали южным славянам на долю, сражались за самих себя – за свою веру и землю, язык и обычаи, за свою суверенную жизнь и свободную душу? А вот мы, русские, как это ни горько признать, сражались-то, большей частью – особенно в XX веке – против самих же себя. Мы крушили обычаи, веру отцов, разрушали уклад устоявшейся жизни, мы ломали язык и саму свою душу – и вот, в результате, мы стали таки-

ми, какие мы есть. Можно сказать, мы в очередной раз победили – но победили-то мы самих же себя...

И все чаще мне кажется: небывалая популярность отдыха в Черногории – а за последний год число побывавших здесь русских туристов выросло втрое – связана, может быть, даже не с тем, что мы, русские, едем сюда отдыхать – а с тем, что мы в Черногорию едем лечиться. Лечиться от собственной мутной тоски, от уныния и от угрюмства, лечиться – что самое главное – от нелюбви, неприязни к самим же себе. Мы рады увидеть – нам неожиданно видеть такое! – что в Черногории нас, русских, любят, причем любят живо и искренно, так, как мы уж давно разучились любить сами себя. Здесь часто приходится слышать вопрос-восклицание: “Русия? Славно, славно!” – и от этих, таких немудреных, но полных живого сочувствия слов начинаешь, вот именно, что выздороавливать.

Не забудем, что даже в Христовом завете – “Возлюби ближнего, как самого себя” – любовь человека к себе подразумевается как естественный и несомненный фундамент, основа нашего отношения к миру и людям. Человек, не осмеливающийся любить самого себя – это дефектный, больной человек, неспособный, вследствие этого, любить никого вообще, от соседа до Бога.

И как же тут, следом за Божьим заветом, не вспомнить и пушкинских слов – где за шуткой скрывается самый, может быть, важный совет для всех нас, так, увы, склонных гоняться за призраками и в безумной, отчаянно-жертвенной этой погоне забывать о самих же себе:

*Призрака суетный искатель,  
Трудов напрасно не губя,  
Любите самого себя,  
Достопочтенный мой читатель...*

## IX

Трагизм и величие “вечных” вопросов как раз в том, что они принципиально неразрешимы – по крайней мере, в пределах людского рассудка и здешнего мира. Но сама постановка такого вопроса, сама широта и объем того взгляда на мир, при которых подобный вопрос может быть задан – уже несут в себе как бы возможность ответа. Вопросая: “Есть ли в трагедии смысл?”, или “Зачем нужно страдать?”, или “Зачем мы все умираем?” – мы с вами, в глубине сердца, чувствуем, что ответы, конечно же, есть: иначе и сами вопросы не могли бы быть заданы. Задача в том, чтобы найти ту точку зрения, с которой противоречие, что содержится в “неразрешимом” вопросе, перестанет быть противоречием – и тогда сам вопрос как бы перестанет существовать.

Ведь из того несомненного факта, что наша жизнь есть трагедия, очень легко сделать шаг к отрицанию Бога. Если Творец и всемолюбящий, и всемогущ – то как же Он может мириться с тем, что любимые дети Его и страдают, и погибают? В рамках здешних, земных, ограниченных наших условий такое противоречие, в самом деле, непреодолимо. В том-то и дело, что надо подняться, взглянуть на трагедию взглядом гения, взглядом Пушкина или Шекспира – чтобы трагедия из обвинения Богу, из упрека Ему превратилась, напротив, в доказательство Его бытия, и, стало быть, в подтверждение бессмертия нашего духа. Трагедии жизни – это как бы плавильные печи, в которых Господь обжигает людей, это печи, в которых твердеет и крепнет сырая душа человека.

Взгляды гениев как раз помогают подняться на ту высоту, с которой трагическое представляется не бессмысленным нагромождением ужасов, перед которым тускнеет и разум, и воля и которое парализует всю нашу жизнь – но трагедия предстает как осмысленный, связанный с Высшею волей, процесс. Трагедии жизни ставятся Богом, вершителем человеческих судеб – и именно с точки зрения Творца в каждой трагедии есть свой смысл, свой урок, своя правда.

Что чувствует сердце, коснувшись трагедии – реальной ли, совершившейся в жизни, или такой, о которой нам повествует художник? Через всю боль, через муку, с которыми связан трагический опыт, нам словно брезжит какое-то высшее знание: убеждение в том, что человеческий путь не кончается смертью. Это знание никогда не бывает незыблемо-твердым – оно укреп-

ляется по мере того, как растет, укрепляется наш с вами дух и слабеет, когда мы сами слабеем – но без этого знания человек никогда не поднимется в свой полный рост, он не станет вполне человеком.

И как человек, что сумел пережить, пересилить трагедию, становится больше себя самого – так и целый народ, чей трагический путь полон горя и муки, воплощает особое, высшее знание жизни. В таком-то народе и начинают не просто утешать-успокаивать тех, с кем случилась беда, но поздравляют: “С несчастьем Вас!” – и говорят о трагедии: “Бог посетил...”

Похоже, славяне находятся на особом счету, на особой примете у Бога. Мало кто может с ними сравниться в трагизме их судеб, в том множестве бед, испытаний, несчастий, какие славянам пришлось пережить. И славянская формула, после всех сокращений, может выглядеть так: “Жизнь трагична, а смерть неизбежна – но человек не кончается смертью”.

Именно здесь, в Черногории, где жизнь так прекрасна и так трагична одновременно, где, с одной стороны, все дышит радостью, негой, гармонией моря и гор, а с другой стороны, даже в названии страны слышно горькое “горе” – здесь, как нигде, мы близки к разрешенью загадки, которая, в принципе, и не может быть разрешена силой только рассудка: лишь наше славянское, общее сердце предчувствует верный ответ...